

СФЕРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Т. А. Круглова

«ДВА КАПИТАНА»: 35 ЛЕТ СПУСТЯ*

35 лет – это примерный срок после моего первого прочтения романа Каверина, состоявшегося в эпоху позднего социализма, накануне столетия со дня рождения Ленина и моего вступления в комсомол, когда все советское было еще на своих местах и казалось незыблемым. Известно, что процедуры чтения контекстуальны и историчны, и читатели, не слушая литературоведов, не читают романы только по художественным законам, а нагружают текст опытом своего времени и поколения. Поэтому интересно сравнить, что доминировало в моем восприятии тогда, когда я была простой советской девушкой, и сейчас, когда я стала простым постсоветским доцентом.

Тогда доминировала история романтической любви, интриги злодеев-разлучников, но в первую очередь запомнились переживания маленького мальчика: одиночество, немота, заброшенность, сиротство, голод, холод, смертельные болезни; подростка: любовь, предательство, жажда самоутверждения, оскорбленные чувства. Вся первая часть романа (до того, как Григорьев уезжает в летное училище), помнится в подробностях, была прочитана на одном дыхании, концом этой истории было счастливое соединение с Катей, утверждение перед ней правоты главного героя, окончательное разоблачение в ее глазах Николая Антоновича и Ромашова. На самом деле, как я подсчитала позже, это только первая треть романа, но для меня тогда он в основном уже закончился: все остальное воспринималось как большой эпилог. Главное – это был роман из «другой жизни». «Другая жизнь» – это очень далекое прошлое, это вообще не из жизни, а из «литературы», из романов о

* Статья выполнена при поддержке гранта по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук МО РФ.

детстве, отрочестве, юности. Его герои смутно напоминали персонажей каких-то старых романов. Повествование от лица подростка придавало трогательно-сентиментальную, диккенсовскую интонацию («а Диккенса не читал», – укоряла Катя Саню Григорьева), напоминало то ли об Оливере Твисте, то ли о Найденыше, о многих литературных сиротах, которые где-нибудь в финале обретут наконец заслуженное счастье. Кроме того, взгляд ребенка придает особую оптику происходящему, взгляд на мир, в котором есть только ближайшее окружение, пространство маленького провинциального городка, семьи, друзей, соседей, детдома, а Большая история государства, войны и революции проходят далеким, неподвластным сознанию ребенка фоном. Если здесь и показана роль большевиков, то только в образе доктора Павлова, который в качестве беглого ссыльного излечивает Саню от немоты, что весьма символично, так как главный герой обретает теперь доступ к главному в культуре – к Слову, затем спасает его от смертельной болезни в эпоху НЭПа и, наконец, передает ему дневники штурмана «Святой Марии», с которых начинается поиск пропавшей экспедиции. Впрочем, быстро забывается, что он – первый встреченный на пути героя большевик, он просто «милый чудачковатый доктор» – тоже скорее персонаж старого доброго романа. В общем, скитания мальчика-сироты, его страдания и унижения – очень знакомый и вечно трогательный за сердце сюжет.

В этой части просвечивает и дыхание эпохи и литературы 1920-х гг. – с ее авантюрно-приключенческим пафосом, любовью к тайнам и загадкам, мелодраматическим эффектам, близким контекстом массовой беллетристики и, главное, открытостью судеб, когда интересно следить за перипетиями сюжета и не знаешь, что впереди и чем закончится. Хорошо запомнились конкретные приметы времени: что ели, как одевались, что сколько стоило. Плотная фактура предреволюционного и послереволюционного времени привлекала, будоражила, трогала. Это был нормальный толстый европейский роман, без которого немислимо созревание людей моего поколения, которые проглатывали такие книги десятками, не разделяя их на русские и французские, советские и буржуазные.

И сейчас, 35 лет спустя, я читала, вспоминая это забытое состояние чтения романа, получая удовольствие от прелестей жанра. Сегодняшний контекст чтения усилил тогдашние смутные догадки о реминисценциях – сейчас они стали источником особого наслаждения. Скрамная интертекстуальность первой части, стыдливо упрятанная автором в бытовые и исторические подробности времени, тем не менее «вылезает» из всех углов.

Но совсем другой «роман» начался во втором томе. Сменилось многое: язык, оптика персонажей, мои отношения с ними, литературный контекст. Кончился старый добрый роман, начался роман советский. Вернее, обнаружилось множество советских романов в одном: блуждание по лесу с раненой ногой, как в «Повести о настоящем человеке», отсылки к многочисленным описаниям ленинградской блокады, к кинофильмам про летчиков-героев и «жди-меня-и-я-вернусь»-девушек, романам и фильмам о вредителях, лжеученых, карьеристах и приспособленцах, невестах-геологах и женихах – поляр-

ных летчиках, к атакам на юнкерсы и потопленным немецким подводным лодкам...

Перед нами своего рода энциклопедия классического советского произведения искусства, избежавшего, правда, крайних идеологических выражений. Попадая внутрь этого повествования, очень быстро понимаешь его правила, узнавая через мягко поданные реминисценции возможные варианты судеб героев. И перестаешь за них волноваться так, как это было в первой части. Исчезает состояние, выраженное в одной фразе, ставшей заголовком главы: «Все могло быть иначе». Кончились сомнения героев – кончились и наши. Недоразумения, источником которых были взаимоотношения главных героев, разрешились, теперь неприятности могут происходить только от явно обозначенных врагов, которые в конце концов будут разоблачены и наказаны. Изменились пружины, раскручивающие сюжет. Если в первой части Саня должен был принимать решения с неизвестными моральными последствиями и брать за них ответственность: сообщать или нет о заговоре против Кораблева, рассказывать или нет о своих догадках по поводу вины Николая Антоновича Марье Васильевне, – то во втором томе он действует как человек, которым управляет воля, а не рефлексия. Он уже ничего не выбирает и ничего не решает – он действует, причем важнейшие в его жизни решения теперь принимают другие, важные люди в эшелонах власти. Маленький мальчик первого тома решал судьбы других людей, а взрослый Александр Григорьев живет в системе, которая распоряжается его судьбой. Детство и зрелость поменялись местами по сравнению с романами воспитания. Недаром в глазах людей, любящих Саню, он предстает мальчиком с вихром на затылке, вечно юным романтиком, несмотря на то, что к концу романа ему около сорока лет. Герои советских романов – вечные подростки, не подзревающие о том, чем взрослые отличаются от них. В мировой культуре взросление человека выражалось в архетипе «эдипова комплекса»: ребенок вырослел через символическое убийство родителей, травму отторжения от них, переживание своей аналогии с отцом. У Каверина и Катя, и Саня оказываются причастны самым непосредственным образом к смерти своих родителей. Саня, случайно обронивший нож на пристани, что стало важной уликой против его отца, обвиненного в убийстве и скончавшегося в тюрьме, в силу немоты не может свидетельствовать в его пользу; Катя, рассказавшая матери версию о роковой роли Ивана Антоновича в гибели ее мужа, предвидевшая шок от этого известия, послужившего причиной самоубийства, – оба они, остро переживая смерть близких, не испытывают травмирующего чувства вины, над ними не властны ни архетипы мировой культуры, ни законы психоанализа. Григорьев, как и другой известный правдоискатель, Гамлет, причиняет боль близким и становится причиной их гибели. У Гамлета тоже есть отчим, ненавидимый им особенно за то, что его слепо любит мать.

Во втором томе усиливается роль высоких помощников, представителей власти: это крупные военные чиновники, возвращающие героя на Север, милиция, арестовывающая Ромашова, общественность, подвергающая остра-

кизму Николая Антоновича. «Если сравнить, как это делают поэты, жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых поворотах этой дороги, я всегда встречал регулировщиков, которые указывали мне верное направление» [Каверин, 1984, 549]¹. Личная правота Сани все больше поверяется правотой системы, гарантируется ею и подтверждается. Личные и внутрисемейные счета переносятся в крупный социальный масштаб. Это уже не история о том, как брат из любви к жене брата погубил его, а история о самозванце и воре, укравшем у страны ее национальное достояние. Фактура повествования укрупняется и разрастается. Поиски пропавшего капитана уже не частное дело семьи и даже не задача географической науки, это военное дело, напрямую связанное с победой и мощью нашего государства. Решающая стадия поисков совпадает с решением военных задач на Севере. В этом контексте первый капитан – Татаринов – становится «настоящим советским человеком», из далекого прошлого как бы предвидевшим стратегическое значение своих открытий и тем самым помогающим нашим сегодняшним победам. В романе, таким образом, русское и советское означиваются друг через друга, между ними устанавливается преемственность: два капитана, как двойники, осуществляют симметрию истории, и ничего, что один – великан, а другой маленького роста. Советский мальчик-сирота является достойным наследником символического капитала Российской империи. Впрочем, нам дается понять, что Российская империя вовсе не была озабочена подвижничеством своих подданных, она в лице Николая Антоновича вредила и мешала проявлению истинного патриотизма и самоотверженности, и только советские люди смогли по достоинству оценить подвиг капитана Татаринова. Здесь мы имеем дело с очень важным мотивом всей советской культуры: она полна историями о загубленных при царском режиме талантах – крепостных актрисах, художниках, умерших в нищете, замученных болезнями писателях, убитых на дуэлях поэтах, нереализовавшихся из-за чиновничьего произвола ученых. И только советская культура может эффективно распорядиться этим символическим капиталом.

Меняется и язык во втором томе. Вот начальные строки первого тома: «Помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесенные забором... Почтальон... лежал на спине, закинув руки, как будто заслонясь от солнца, еще совсем молодой, белокурый, в форменной тужурке с блестящими пуговицами: должно быть, отправляясь в свой последний рейс, почтальон начистил их мелом». Внимательность взгляда, точность детали... Убийство при ярком свете луны, детский ужас, смерть, вот с чего начинается роман. Язык второго тома цитирует радиосводки, передовицы газет, плакаты: «Русский солдат рванулся вперед, занес гранату, и в это мгновение ударила в его сердце роковая пуля. Прислонившись к сосне, так и застыл он на сорокаградусном морозе. Как ледяная статуя, он стоит с гордо откинутой головой в порыве не помнящего себя вдохновения боя... Но вот проходит эта памятная все-

¹ Здесь и далее ссылки даются по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках.

му миру зима. Дыханье новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза. И вновь разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет, и уже досада на себя, на свое бездействие, слабость томит и волнует душу». Это совсем другая смерть. «Я лечу над картой великой войны, и уже не маленький сердитый летчик в меховых сапогах, а само Время сидит за штурвалом моего самолета».

Понемногу мы обнаруживаем подмену жанра и персонажей. Перед нами эпос, в котором нет отдельных личностей, а есть Большое время, народ, история. Классический роман, движимый противоречиями (например, между истиной и любовью), заканчивается, начинается советское телеологическое повествование. Повествование все больше отходит от классических реалистических аллюзий, начинается игра в поддавки. Есть блокада, но без ужасов голода, есть ранение, даже гангрена, но герой сохраняет ногу. Герои теряют сознание, но уже через пару страниц они живы, здоровы, на ногах, в строю. Цепь случайностей в жизни Григорьева – письма из сумки мертвого почтальона, найденный багор, остатки самой экспедиции – должны подтвердить необходимость всего его образа жизни. Именно потому, что он стремится быть там, где всего труднее, он и находит то, что ищет.

Герои уже не меняются внутренне, они только приобретают возрастные характеристики. Все время подчеркивается, что Валя все так же клонит голову набок, «сандалит нос» и рассуждает о грызунах, Кира оглушительно смеется, Кораблев расчесывает свои пышные усы, у Ромашова по-прежнему торчат желтые космы и видна полоска глазного яблока из-под коротких век, Иван Антонович так же бледнеет, когда смеется. Несмотря на кучу трудностей, которые преодолевают герои во втором томе, на самом деле им гораздо легче, так как эти трудности носят всеобщий, общенародный характер. Они уже полностью определяемы миром советской страны, миром, где летчики бесстрашны, штурманы молчаливы и надежны, их подруги – прямые, гордые и чистые, друзья – на всю жизнь. Врагов здесь не боятся, а презирают, не испытывая к ним ненависти, а только «веселую злость». Героям становится весело в самый решительный момент схватки с врагом. «Веселость» вытесняет агрессию, подчеркивает чувство превосходства и уверенности в себе. Это также характерная черта многих героев советского искусства.

«Два капитана» – роман суперсоветский, потому что в нем все скромное обаяние соцреализма, интимный мир Великой Советской Мечты, вложенный в судьбу маленького мальчика, который доказал, что «мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой» (668). Трудно найти другое произведение искусства, в котором мечты сбывались бы так полно и с таким абсолютным чувством правоты. Кроме того, нужно обратить внимание еще на одно важное обстоятельство. Советский роман, как показала еще К. Кларк, исходит из схемы обряда инициации, где герой с необходимостью должен претерпеть страдания, получить увечья, даже стать калекой, принести в жертву личную жизнь и просто жизнь ради преображения нового мира и нового человека. Схема неизбежных страданий и жертв сближает ранний советский роман и с русской

литературой, и с мировыми архетипами. Центральная линия русской литературы – человек, у которого сначала было все, а потом все было отнято, и благодаря этому он прозревает истину. Вечная история об Иове, о цене истины. Этой истории в мировой культуре противостоит другая – об Иосифе, там все наоборот. XX век – спор этих двух историй. Каверину удалось избежать тяжелого груза Толстого – Достоевского, его герой успешен, счастлив, удачлив, здоров, у него все получилось, и практически без потерь. Он ничем не жертвовал, ему не пришлось повторить путь Корчагина. Перед нами очень нетрадиционный герой русской литературы, которому нет аналогов, и он становится поэтому очень современным.

Оказывается, первое впечатление спустя 35 лет о том, что внутри «Двух капитанов» – два разных романа, исключаящих друг друга, не совсем верное. Доверие к Григорьеву-старшему, герою и победителю, целеустремленному и отважному, обеспечил Григорьев-младший из первого тома. Символический капитал русской и европейской романной традиции помог сопреалистическому герою остаться человеком и избежать имиджа супермена. Благодаря умелой и тонкой интертекстуальности происходит двойное кодирование поведения героев. Они оцениваются и по мерке великой русской литературы, и по мерке советской ментальности, вполне выдерживая этот двойной груз.

В советской стране вообще любимый герой – Капитан. Глеб Жеглов был капитаном, и капитан Грант, тоже пропавший в далеком путешествии и найденный под веселую песенку Исаака Дунаевского «Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет». «Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах – к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе – и я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество» (668).